

## Иосиф Бродский. Родственный взгляд

**Б**иографическое собирательство и литературоведческая охота за фактами жизни и творчества Иосифа Бродского, как и любого поэта такого масштаба, образуют со временем особенный сложносочиненный мир. Мир и одновременно — войну между исследователями и мемуаристами, фанатами и снобами, официальной точкой зрения и андеграундом, любящими и ненавидящими. В центре всего этого фигура мастера обретает очертания монумента. Почему так получается? Бог знает. Воспоминания, факты личной истории нужны нам для другого. Поэт ушел, а голос его остался, и то, что он говорит, больше никто сказать не может. Оттого есть внутренняя необходимость сохранить или даже уменьшить дистанцию. Чтобы он не отдалился настолько, что перестал бы восприниматься человеком. Чтобы не стал памятником или черной точкой на горизонте, уроком литературы в школьной программе и т. п. Надеюсь, мои заметки послужат этой цели.

При всём обилии бродсковедческих публикаций, остается почти неизвестной та часть жизни поэта, которая протекала рядом с родителями и близкими родственниками. Это одна из причин, по которой мне хочется поделиться впечатлениями от встреч с Иосифом Бродским в юности, воссоздать атмосферу нашей (его и моей) семьи.

Об отце, Александре Ивановиче Бродском, и матери, Марии Моисеевне Вольперт, Иосиф написал в эссе «Полторы комнаты». В дальнейшем почти никто о них не вспоминал. Мало кому известно, в частности, что у Марии были три сестры и брат — очень близкие люди. Вместе со своими семьями они образовывали большой семейный круг, общее пространство, внутри которого мы все, включая Иосифа, жили. Мир семьи казался совершенно особенным — и остался в памяти

как внутренняя родина и абсолютная точка отсчета. Для Иосифа не могло быть иначе. Детство и юность он провел рядом с этими людьми: сидел с ними за одним столом, слушал их рассуждения о Манделъштаме и сетования на недостаток денег. От них зависела его судьба в блокаду и в эвакуации. Сюда он взрослым возвращался из экспедиций, ссылки, после принудительного лечения. Здесь о нем помнили всегда, и здесь стояли на полках первые прочитанные им книги.

Всякий раз стараюсь подчеркнуть: его родители и старшего поколения родня интересны не только близостью к великому человеку, но и особенным устройством своего внутреннего мира и судьбы. Поколение, детство и юность которого прошло в Российской империи, а жизнь вобрала в себя две революции, сталинизм и две мировые войны. Следует ли что-нибудь к этому добавить? Только то, что в результате они были людьми такой внутренней силы, обаяния и естественной, в крови растворенной интеллигентности, какой я больше не встречал никогда.

Патриархами семьи были Моисей и Фанни Вольперт. Они, как известно, до Первой мировой войны жили в Двинске и с началом боевых действий перебрались в Санкт-Петербург. Дед Иосифа был агентом по продаже швейных машин «Зингер» на Северо-Западе — в Прибалтике и Петербурге. Фанни занималась домом и детьми.

Основу семьи составляли дети Моисея и Фанни — сестры и брат Вольперты. Мне кажется, что особое пространство сложилось из их дружбы. Для нас они, вместе с их мужьями и женами, были старшим поколением: Мария Моисеевна Вольперт, мать Иосифа Бродского, и его отец — Александр Иванович Бродский; три сестры Марии: Роза Моисеевна Кельмович, Раиса Моисеевна Руткис и Дора Михайловна Вольперт с ее мужем Михаилом Савельевичем Гавронским; брат Марии — Борис Моисеевич Вольперт и его жена Тамара Израилевна Зингер. Следующее поколение — Иосиф Бродский и его двоюродные братья: Яков Захарович Кельмович (мой отец), Михаил Викторович Руткис и Александр Борисович Вольперт. О родственниках Александра Ивановича я, к сожалению, ничего не знаю.

Марию и Александра Ивановича — я пытаюсь не вспомнить, а скорее увидеть в глубине длинного голого коридора. Массивность стен и высота дверей. Кухня, откровенно неприглядная, со вторым выходом на черную лестницу и во двор. Темная, закопченная, с довоенными кухонными столами и шкафчиками, щеколды которых рождали ассоциации с дачным туалетом. Выщербленная и грязная виниловая плитка на полу. «...именно тут, — писал впоследствии Иосиф, — моя мать провела четверть жизни» (*Иосиф Бродский*. «Полторы комнаты»).

Приходя к Марии и Александру Ивановичу, гости попадали в большую квадратную часть полутора комнат. Входящего в нее впечатляла

высота дверей и толщина стен в проеме. Они соответствовали росту и сложению Бродского-старшего, когда он встречал гостей у вешалки. Все остальные казались несоразмерны дверному проему и внутреннему пространству. С другими вещами было то же самое. Кровать и буфеты выбивались из обычного человеческого масштаба. Обычное коммунальное настроение этой дверью отсекалось: внутри был совершенно другой мир.

Комната должна была производить очень странное впечатление даже на людей, привыкших к старым питерским квартирам, я же знал ее с детства. Приходил поиграть с японскими куклами и краем уха послушать истории взрослых о гонениях на гениальных поэтов, военных приключениях и дефиците индийского чая в магазинах. Необычности не замечал, но остро чувствовал нечто трудноопределимое — будто запах острой приправы щекотал ноздри.

Пространство «полтора комнат» на две неравные части разделяла фантастическая арочная стена. Две ее высокие арки были увиты лепниной. Они не были заколочены, только закрыты мебелью и задрапированы. Зато каждая часть имела свою дверь в коммунальный коридор. В большей, квадратной, части жили родители. Вторая, узкая, разделялась надвое. В ней, ближе к входу, располагалась похожая на темный чулан фотолаборатория Бродского-старшего. К Осе надо было пройти через нее. Далее узкую часть «полтора комнат» перегораживали три разномастных старинных шкафа. Один из них как будто даже имел барочные, выгнутые формы. У центрального шкафа была выбита задняя стенка, и через его дверцу можно было проникнуть в келью Иосифа, высоко задирая ногу над порогом-цоколем, нагибаясь и спасая голову от низкого «дверного косяка». Вход этот неизменно вызывал у меня тихий восторг и приступы веселья, бесповоротно утверждая представление о том, что это особенный, ни на что не похожий дом. За дверью-шкафом пространство раскрывалось, казалось особенно светлым, одновременно простым и причудливым. Такое впечатление возникало из-за большого арочного окна в маленьком квадратном помещении. Его усиливали вторая задрапированная арка, ниша и книжные полки.

Почти аскетичная обстановка: обычный полуторный матрас на ножках у окна, стол со стульями и полками над ними, небольшое кресло. Простота парадоксально сочеталась со множеством удивительных вещей. Бронзовый кораблик — китайская джонка с квадратным металлическим парусом и проволочной снастью, небольшие старинные канделябры. Полки с плотными рядами книг, а сверху на полках — коллекция пустых бутылок из-под виски, мартини, вина с яркими этикетками, неизвестными в СССР. Бутылки указывали на связь хозяев с заграницей.

В «полтора комнатах» парил дух вечно отсутствующего опального и — уже понятно было — великого поэта. На голых обшарпанных стенах

жили свидетельства дальних странствий. Неспешно расхаживал по комнате в мягком пиджаке и шапочке булгаковского Мастера гигантского роста отставной военный моряк. Капитан, прошедший три войны, исколесивший всю Евразию от Румынии до Китая и Японии, фотохудожник, журналист и, как оказалось потом, писатель, настоящий герой романа Жюль Верна, все приключения которого не поместились бы ни в какое собрание сочинений.

В жизни он вынужден был изображать мелкого писаку, фотографа и неудачника, хотя по большому счету это было совсем не так. Александр Иванович был грандиозным человеком, для которого не нашлось в этой стране подходящего места. Очередной герой войны, выброшенный из флота и оскорбленный до глубины души тем, что должен был непрерывно барахтаться в трясине бытовых неурядиц и безденежья. Мы (младшее поколение) относились к нему приблизительно как к линкору в доке и обращались всегда уважительно, а между собой в семье называли — Саня-Ваня.

Над кухонной плитой хлопотала Мария (сестры звали ее Маней) — невысокая, полная, даже грузная женщина, с виду — типичный бухгалтер жилконторы со строгим взглядом из-за очков. Настороженность советского обывателя могла вызвать только скульптурная лепка ее лица, и еще — взгляд был не только строг, но и философичен. Нет, обывателю и соседу по коммуналке лучше было не смотреть в эти глаза. Они выдергивали человека из бессознательности бытовой жизни, как гвоздь из доски (со скрипом, но деваться некуда). Столько-то стоицизма и столько-то тайной, хорошо спрятанной душевной и физической боли — рецепт этих глаз.

Что-то было в них такое, что заставляло хипповых и лопающихся от сомнений питерских поэтов приходить порой к ней на кухню, спрашивать совета, говорить о жизни, а, может, — и плакаться в жилетку. То, что она кроме немецкого в совершенстве знала французский, я узнал лишь впоследствии: Мария умела хранить тайны. Но отлично помню, как на кухне, помешивая суп в кастрюле, она читала наизусть «Евгения Онегина». Из любой главы и с любого места.

Что составляло их жизнь после его отъезда? Быт, безденежье, болезни, встречи с сестрами. Бесконечное ожидание звонка из-за океана: Иосиф звонил раз в две недели. Письма с просьбой о выезде из СССР, тихие гости, «курьеры» из-за границы с гостинцами, переправка в Америку нужных Иосифу вещей и книг.

Он очень просил переслать ему словарь Брокгауза и Ефрона, 82 тома дореволюционного издания. У этой энциклопедии есть своя семейная история. Последние годы она была в распоряжении Иосифа, он очень ее ценил и постоянно пользовался ею. Для Марии стало постоянным делом

раз в две недели ездить на Главпочтамт и отправлять энциклопедию посылками по одному тому — месяц за месяцем, пока не отправила всё. Ей было тяжело добираться до места: сначала автобусом, затем довольно далеко пешком по Почтамтской улице. Тяжелое тело, нездоровье. Она шла с палкой.

Мария никогда не искала сочувствия и поддержки, всё несла на своих плечах, несмотря ни на что. После отъезда Оси она каждый год отмечала его день рождения. Устраивала большой праздник, собирала его друзей. Готовила свои знаменитые кулебяки, накрывала роскошный стол (чего ей это стоило!). Гости собирались под вечер, пили, вспоминали минувшее, обсуждали происходящее — так, будто их общая с Осей жизнь продолжалась.

В то же время, пресс КГБ делал свое дело. Мария боялась хранить дома изданную в Америке книгу Осиных стихов и отдала ее старшей сестре Розе. Телефонный аппарат всё время накрывала подушкой, боясь прослушки. Предвидя разговор на «сомнительную» тему, предпочитала увести собеседника на кухню. Открывала там дверь на черную лестницу и курила около нее.

О том, что в 1978 году после тяжелого сердечного приступа Осе сделали срочную операцию на сердце, Мария узнала по радио. Сразу же подала прошение на поездку в Америку. Ей вежливо ответили очередным отказом на основании того, что в Америке Иосифа быть не должно, так как страна, в которую он эмигрировал, — Израиль. Последовали дополнительные разъяснения: советская страна заботится о своих гражданах и не допустит, чтобы они совершали неправильные поступки. Таким поступком им виделась поездка Марии. В 1983 году, когда она умерла, разрешения прилететь на похороны матери Иосифу не дали. Он позвонил в Питер родственникам и спросил, не стоит ли ему все-таки попытаться приехать. После продолжительного молчания ему ответили, что не стоит.

Саня-Ваня многим запомнился как рассказчик увлекательных историй из своей жизни. Он начинал длинное повествование, сидя или стоя у буфета. Рассказывал долго, с убийственными паузами, перемещаясь по комнате: принести заварной чайник, чашки по очереди — приходилось быть где-то рядом. Закончить он мог нескоро, у большого стола, под оранжевым абажуром. Я обнаружил в последнее время, что все вспоминают увлекательность его многочисленных историй, но при этом мало кто сохранил в памяти их конкретное содержание.

Хотя военная судьба Александра Ивановича была уникальна, мне он всегда рассказывал о чем-то другом. О том, как брал интервью у Маяковского, о своих любовных приключениях и разборках с басмачами в Баку в 30-х, о знакомстве с рабочим, который прятал Ленина в Разливе, о том, как до войны самолет, в котором он летел за Урал, сорвался в штопор

и чудом вышел из пике у самой земли. Или о самурайском мече: Александр Иванович привез из Японии, среди прочего, настоящую катану. После сталинского запрета хранить дома оружие меч он сдал, а ножны оставил, и мы обсуждали, почему он так сделал. Одна общая знакомая, наслушавшись его рассказов о довоенных временах, в ужасе делилась с подругой: «Послушай, он же белый (имелось в виду белогвардеец): он о революции говорит — либо *захват власти*, либо *военный переворот*...».

Несомненно, он был оскорблен властью, несправедливостью своей послевоенной судьбы. Его, морского офицера, ветерана трех войн, одного из лучших фотографов страны, уволили из флота по сталинскому указу, запрещающему евреям носить высокое воинское звание. Оскорбляли преследования сына, нищета, невозможность путешествовать и пренебрежительное отношение тех, кто связывал жизненный успех с достатком и удачной карьерой. Но своих настроений он никогда не показывал. Мы видели только военную выправку, общительность, улыбку на лице — иногда, казалось, слегка презрительную.

В письмах сыну стремился дать понять, что всё в порядке. Рассказывал о том, как в город пришла весна, о премьерах в театре, немного о политике. Ни слова о болезнях или трудностях. Пара фраз о Масе (Марии), о выставке фотографии. О родственниках — только что-то деловое или необычное, забавное. К примеру, о том, как я поступил в мединститут и одновременно занялся карате, как на солидном семейном празднике устроил каратистскую шурум-бурум-тренировку для мальчишек рядом со столом. «Врач-педиатр и каратэ — неплохое сочетание», — заметил он с иронией.

«Он был гордым человеком. Когда что-либо постыдное или отвратительное подбиралось к нему, его лицо принимало кислое и в то же время вызывающее выражение. Словно он говорил “испытай меня” чему-то, о чем уже знал, что оно сильнее его. “Чего еще можно ждать от этой сволочи”, — была его присказка в таких случаях, присказка, с которой он покорялся судьбе» (*Иосиф Бродский*. «Полторы комнаты»). Я нахожу, что это выражение последние годы жизни присутствовало у него почти всегда. И тогда, когда он сидел за столом между гостями, и тогда, когда его спрашивали об Осиных делах, об участии в фотовыставках или о здоровье. Он держался, сохранял лицо.

Когда Лиля Руткис, жена Михаила Руткиса, бывшая с Марией в больнице до самого конца, в слезах приехала к Бродским домой, Александр Иванович встретил ее на пороге и, криво улыбаясь, спросил: «Ну, что: финита ля комедия?» Сам он через год, как бы игнорируя смерть, бездыханным остался сидеть на стуле возле обеденного стола. Рядом чашка кофе и записка Лиле, в которой только первая фраза о себе: «Мне очень плохо...», и далее — пара строк деловых указаний.

Так получилось, что, когда все жильцы этой комнаты либо умерли, либо оказались в изгнании, в доме осталась только кошка. Она была последним членом семьи, последним жильцом этого странного места, именуемого нынче «полторы комнаты». Она прожила одна какое-то время. К ней приходили, продолжали ее кормить и за ней ухаживать. Но судьбу кошки надо было решать. Лиля забрать ее не могла: в семье не переносили кошачьей шерсти. Выручил Володя Уфлянд. Он предложил взять ее к себе. Таким образом круг замкнулся: кошка начала свою жизнь в доме одного поэта и завершила ее в доме другого.

О родителях Иосиф написал пронзительные «Полторы комнаты». О других родственниках едва ли наберется страница текста. Это ни в коем случае не соответствует их месту в его жизни. Оттого сильно искушение расшифровать то немногое, что есть.

Начнем с отрывка из эссе «Меньше единицы»:

У меня был дядя, член партии и, как я теперь понимаю, прекрасный инженер. В войну он строил бомбоубежища для Parteigenossen; до и после нее строил мосты. И те и другие еще целы. Отец постоянно высмеивал его, когда спорил с матерью из-за денег; мать же ставила своего брата-инженера в пример, как человека основательного и уравновешенного, и я, более или менее автоматически, стал смотреть на него свысока.

Зато у него была замечательная библиотека. Читал он, по моему, немного; но в советских средних слоях считалось — и по сей день считается — признаком хорошего тона подписка на новые издания энциклопедий, классиков и пр. Я завидовал ему безумно. Помню, как однажды, стоя у него за креслом, смотрел ему в затылок и думал, что если убить его, все книги достанутся мне — он был тогда холост и бездетен. Я таскал книги у него с полок и даже подобрал ключ к высокому шкафу, где стояли за стеклом четыре громадных тома дореволюционного издания «Мужчины и женщины».

Это была богато иллюстрированная энциклопедия, которой я до сих пор обязан начатками знания о том, каков запретный плод на вкус.

В десяти минутах ходьбы от дома Мурузи, на ул. Чайковского, в доме, где незабвенный «Колобок» на углу, жил Борис Моисеевич Вольперт, брат Марии — «дядя-инженер». Квартира на Чайковского. Напольные часы с боем. Мигающий желтый светофор за окном. Оранжевый абажур на массивной бронзовой люстре с фигуркой орла. Картины в старинных рамах. Длинный и темный, как ствол нарезного ружья, коридор. В анти-

кварном книжном полумраке — большой квадратный стол, накрытый гобеленовой скатертью. Вечером он как будто выплывал из сумрака в ярком пятне желтого света висящей над ним лампы, в обрамлении двух старинных буфетов, гарнитурных стульев, трехметрового зеркала, горок с фарфором и потемневших от времени картин. Свет был теплым, необычайно притягательным. Ничего так не хотелось тогда, как сесть за этот стол и вступить в беседу, которая, как правило, уже шла.

Здесь был центр нашего мира — так ощущалось это пространство, без всякого рационального объяснения. Объяснение, впрочем, было, и вполне очевидное: на Чайковского жили Борис с семьей и Роза — двое из пятерых Geschwister. Здесь было удобно и близко собираться, в самой большой отдельной квартире.

Борис был старшим во всём: авторитет, успешность, потребность помогать и опекать. В отличие от двух «линкоров» — Михаила Гавронского и Александра Бродского — Борис Вольперт был среднего роста, не попал на фронт, войну прошел в качестве главного инженера крупного оборонного завода в Череповце. Он имел технический склад ума и был немногословен. Его манера держаться вызывала уважение. Сестры, да и все члены семьи прислушивались к его мнению и всегда находили в нем опору. Я думаю, он был добрым человеком, но старательно скрывал свои чувства. Он искренне заботился о близких. Считал своим долгом опекать родню, за Осю беспокоился очень. Долг — подходящее ему слово. В нем больше, чем в сестрах, были заметны сдержанность и некоторая сухость внешних проявлений. Он полностью отдавал себя работе. Другим фундаментальным его качеством была лояльность властям. Думаю, он не видел смысла в социальном протесте и явном диссидентстве, был сдержан и разумен, всегда контролировал себя и пытался уберечь от необдуманных шагов своих близких.

Влияние Бориса, этого дома и его обитателей на Иосифа в детстве и юности было значительным. В военные годы Борис помогал всем, кого смог найти. Устраивал рядом с собой в Череповце. Он фактически спас моего отца, вывезенного полуживым из блокадного Ленинграда. Мария с маленьким Осей в эвакуации тоже были рядом с ним.

После войны, вернувшись в Ленинград, семья собралась вокруг Бориса. На старых фото 1948 года они вместе, еще опаленные войной. Среди них Ося, мальчишка с хулиганской улыбкой. Я подсказал сотрудникам Фонтанного дома: многие известные детские фотографии Иосифа сделаны в квартире «дяди-инженера». Вот Ося читает книгу за столом Бориса, вот (ему уже 15 лет) он в комнате Розы с Михаилом Руткисом и т. д.

По себе знаю, как много мог дать этот дом. Особенная его магия открывалась, когда читали в этих стенах книги. Мне кажется, имеет значение, что здесь была первая Осина библиотека. По крайней мере, когда



в 17 лет мне дали запретную, изданную в Нью-Йорке Осину книгу «Стихотворения и поэмы», я открыл «Шествие» — и мир для меня перевернулся.

Была у квартиры на Чайковского и другая сторона. Как известно, в каждой бочке меда есть ложка дегтя. В нашей семье она, естественно, тоже присутствовала и носила характер снобизма, порой — жалящего высокомерия или даже интеллектуальной спеси. В семье существовала негласная, никогда не высказываемая вслух иерархия. Ее никак не обозначали, но, тем не менее, она незримо постоянно присутствовала, как будто висела в воздухе. В соответствии с ней одни родственники занимали более высокое и значительное место, другие были как бы не очень существенны. Положение определялось не уровнем благополучия или успехами, а некой абстрактной значимостью, не имеющей точного критерия.

Борис был на самом верху этой иерархии, но не имел к ее созданию отношения — он был занят делом. Таким образом, источник этого явления остается неизвестен. Несмотря на то что «дегтя» действительно была только ложка, она порой перевешивала остальное — и отравляла жизнь многим. Вкупе с обидой на власть, бедностью и неустроенностью, снобистские обертоны в жизни семьи рождали у Александра Ивановича сложное, пусть и хорошо спрятанное, чувство. Иосиф унаследовал его от отца. В дальнейшем, мне кажется, он через всю свою жизнь пронес это отношение — как к снобам, так и к правителям изгнавшей его страны. «Отец постоянно высмеивал его, <...> и я, более или менее автоматически, стал смотреть на него свысока», — вспоминал он о Борисе. Но недавно в нескольких поздних фото и видео я вдруг увидел у Иосифа черты не Александра Ивановича, и даже не Марии, а «дяди-инженера».

В поведении Оси на Чайковского чувствовался оттенок демонстративности. Один раз он пришел на семейный праздник с опозданием, в домашнем свитере крупной вязки, похожем на кольчугу. Без особых разговоров завалился на тахту напротив телевизора и молча смотрел на мелькание картинок на экране. У стола толпились гости, периодически кто-то заслонял телевизор. Видно было, что ничто происходящее вокруг ему не интересно. На вопросы он отвечал механически и вскоре ушел — кажется, не попрощавшись. Типичное для него появление.

В другой раз я помню его с большой рыжей бородой после экспедиции, и тоже — очень просто одетым. Бородатым он выглядел очень забавно. Иосиф совершенно не желал участвовать в умствованиях и интеллектуальных спорах о литературе, искусстве и политике. Затасив небольшую кучку гостей помоложе из гостиной в спальню, он показал там упражнение, которое можно было бы назвать «борьба ногами», и устроил соревнование — у кого ноги сильнее. Двое соревнующихся садились на стулья друг против друга: один плотно сдвигал колени, другой обхватывал их

своими. Задача первого была раздвинуть ноги, второго — удержать их сомкнутыми.

Это физкультурное развлечение совершенно противоречило духу домашнего торжества. И мне опять-таки кажется, что это было сделано намеренно, из чувства противоречия. После борьбы он рассказывал о своих экспедиционных приключениях, и разговор сбился на характерные мужские истории о суровых ситуациях и испытаниях в полевых условиях.

Самое большое собрание гостей на Чайковского, которое я помню, было в день свадьбы Миши и Лили Руткис. Кроме всей нашей родни, друзей семьи, приятелей и подруг жениха и невесты, приехала целая толпа Лилиных родственников из Измаила. Они привезли гору подарков и деревянный бочонок молодого бессарабского вина. Свадьба получилась шумной, прогрохотала, как горная река на порогах. Накрыла своей волной питерских слегка замороженных интеллигентов. И тогда они тоже «дали». Гости были веселы и пьяны. Северная водка смешалась с домашним южным вином. Пели всё громче, тосты и речи перебивали друг друга. Дора произносила театральные монологи. Иосиф говорил что-то непонятное и не слышное гостям. Между песен он вскакивал и кричал: «Тише, евреи! Тише, евреи!» При этом всем казалось, что на самом деле он хочет, чтобы пели громче. Когда застолье начало рассыпаться на группки собеседников и собутыльников, Лилины подружки-студентки распознали Бродского. В восхищении, прихватив пару бутылок водки, они увлекли его в соседнюю с гостиной комнату, заперлись там, и он долго читал им свои стихи.

«...масса воды отделяет меня от двух оставшихся теток и двоюродных братьев...» — вот буквально всё, что сказано о других членах семьи. Две тетки? Одна из «теток» Иосифа, Дора Михайловна Вольперт, была актрисой. До войны играла первые роли в БДТ, в эвакуации в Алма-Ате жила и работала вместе с Фаиной Раневской. После войны почему-то оказалась в театре Комиссаржевской, и там ей давали роли второго плана.

Ее муж, Михаил Савельевич Гавронский, — кинорежиссер, после войны работал в основном в документальном кино. До войны играл на сцене и снял известные художественные фильмы: «Концерт Бетховена», «Приятели». Ездил на пробы фильма о Полине Виардо в Париж. У него была внешность немолодого лондонского денди, щегольские усики и благородные артистические манеры. Дома он ходил в длинной бархатной куртке со шнуром. У них с «Доренькой» была блестящая богемная семья и роскошная квартира в доме театральных работников на Бородинской улице, изящно обставленная антикварной мебелью.

Кроме внешнего блеска и великолепных манер Михаила Савельевича отличали фантастическая щепетильность и чувство собственного досто-

инства. С 1941 года он воевал — сначала солдатом, потом сержантом — и завершил войну в Венгрии в 1945-м. При форсировании Днепра был тяжело ранен. По семейной легенде, должен был быть представлен к званию Героя Советского Союза, но из-за ранения награда его не нашла. После войны у него были все возможности ее получить, но он отказывался собирать справки и подавать прошения. Более того — яростно отвергал все уговоры «восстановить справедливость». Так же он относился к ветеранским льготам и юбилейным наградам. Ничего никогда не просил, не искал привилегий. Это было ниже его достоинства.

Вспоминается такой случай, связанный с Бродским. В пространстве семьи, будничном или праздничном, Иосиф чаще всего был «где-то не здесь» (в экспедиции, ссылке, эмиграции), но практически постоянно присутствовал в разговорах и мыслях, создавая на фоне обыденности семейную легенду. Его фактические появления сейчас мне напоминают открытые освещенные окна на темном фасаде здания. В них можно увидеть яркие случайные сцены незнакомой жизни, между которыми совершенно нет сюжетной связи. Не ясен их точный смысл, и они отделены друг от друга протяженными темными плоскостями неизвестного. Одно из таких окон в заброшенном каталоге воспоминаний именуется *ленд-лиз*. Это тоже детское воспоминание. Его отчетливость объясняется совершенно необычным содержанием. Это была ссора: яростная, настоящая. Нечто совершенно в нашей семье невысказанное.

Мы были в гостях у Доры. Камерные семейные посиделки включали самых близких, и присутствие Иосифа было редкостью. Семейные собрания всегда были насыщены разговорами об искусстве или политике. Диапазон был широк: от последних театральных сплетен до сравнительного анализа концепций авангардного искусства или непосредственных воспоминаний из жизни богемы начала века. Присутствовали также водка и коньяк с хорошей закуской в стиле булгаковского «Грибоедова».

Разговоры во время таких вечеров иногда перерастали в споры, порой горячие, но всегда корректные. Бродский же обыкновенно имел обо всем оригинальное мнение. В этот раз Иосиф и Михаил Савельевич сначала рассуждали, а потом заспорили о причинах победы в Великой Отечественной войне. Иосиф высказал совершенно крамольную по тем временам мысль: выиграть войну в решающей степени помог американский ленд-лиз. Тут они с Гавронским заговорили особенно горячо. В какой-то момент перешли на крик, затем Михаил Савельевич вскочил, выкинул в указующем жесте руку в сторону двери и заорал: «Вон из моего дома!» Иосиф оделся и быстро вышел. Михаил Савельевич долго не мог успокоиться, чувствуя себя оскорбленным. Дора утихомиривала его гнев, а остальные испытывали неловкость и были несколько растеряны. Впрочем, их ссора была недолгой.

Никогда не видел, чтобы Иосиф читал свои стихи на семейных вечерах родственникам. Но попытка, когда он только начинал писать, была — как раз у Доры. Возможно, ему казалось, что она и Михаил Савельевич, люди искусства, примут его стихи. Кажется, здесь он не нашел полного понимания. Дора искренне и прямо, даже когда Бродский был уже знаменит, говорила, что его стихов не понимает, что для нее они слишком сложны. Она же — единственный человек, который не побоялся на суде над Осей кричать о произволе. Милиционеры вывели ее из зала.

Вторая «тетка» — Рая Руткис. Двоюродные братья: мой отец, Яков, в это время болел, сын Бориса, Саша, собирался перебраться в Америку, Михаил Руткис... Рая растила сына одна и жила в жуткой коммуналке на Литейном в узкой, убогой комнате — трамвае. Ее сын, как и Ося, ушел из школы на завод.

Иосиф любил семью Руткисов. Ценил искренность и прямоту Раи, да и с Михаилом, несмотря на разницу интересов, у них были теплые, почти дружеские отношения. К примеру: Михаил был яхтсменом и, когда ходил под парусами по Финскому заливу, брал Иосифа пару раз с собой. Одна из лучших сохранившихся фотографий середины 50-х: Ося — крепкий подросток — держит на руках хрупкого пионера Мишу в трогательной панамке.

В начале девяностых Иосиф позвонил из Америки Руткису с предложением стать директором благотворительного фонда. Разговор происходил приблизительно такой:

— Михаил, хочешь стать директором *моего* (с нажимом и оттенком самоиронии) благотворительного фонда?

— А что надо будет делать?

— Ничего. У тебя будут деньги, и ты будешь их тратить. («Тратить» — прозвучало сочно и картаво, с той же ироничной интонацией.)

— Да нет, спасибо. Не хочу. — Михаил, как обычно, был немногословен.

Я знаю, что Бродский предлагал ему авторские права на некоторые свои произведения. Но Руткис также отказался. Как объяснил потом, — не хотел «МАССОЛИТовской» суеты вокруг денег.

Когда Михаил собрался жениться, свою невесту он познакомил с Иосифом раньше, чем со своей мамой. Через год, когда в семье Руткисов родился сын Андрей, Ося прибежал к ним домой раньше всех, и его фото первым запечатлело младенца. Это было незадолго до его отъезда в США. Своего сына, тоже Андрея, Бродский впервые увидит почти через 20 лет.

Жена Михаила, Лиля, была знакома с Иосифом недолго, года полтора. Но так случилось, что именно она более всех опекала стариков-родителей после отъезда Иосифа, приняла их смерть, постоянно поддержива-

ла с Иосифом связь и, в конце концов, сохранила архивы и бóльшую часть обстановки «полтора комнат», чтобы впоследствии передать в музей.

Лиля: «Несколько лет каждое утро, вставая, я спотыкалась о пишущую машинку Иосифа Бродского. Она лежала у меня под кроватью. Ее больше некуда было деть. В доме оставалось множество вещей из “полтора комнат”. А с музеем всё было еще непонятно. Когда умер Александр Иванович, многие из друзей и приятелей Оси хотели что-то взять на память или на хранение, но мы не дали. Александр Иванович просил совершенно определенно: рукописи и письма Иосифа отдать Якову Гордину, а его (Сани-Вани) фотоархив сдать в музей кино- и фотодокументов. Я так и сделала».

Десять лет большинство вещей из «полтора комнат» хранилось в семье Руткисов, в максимально возможном для имевшейся жилплощади порядке. Когда — усилиями, в основном, Михаила Мильчика — музей стал воплощаться в реальность, Руткисы отдали всё в Фонтанный дом.

С конца 70-х Лиля занимала высокую должность в Ленгорисполкоме, что естественно предполагало внимание со стороны соответствующих органов. Она сильно рисковала, проявляя столь бурную «антисоветскую активность». Лиля: «Следующий вопрос был — судьба комнаты. Многие из друзей и знакомых Иосифа буквально требовали от меня комнату сохранить, используя связи в облисполкоме. Из-за дремлющего ока спецслужб сделать это было невозможно. Зато удался трюк с архивом Сани-Вани. Под предлогом его паковки удалось договориться о том, чтобы сдать комнату в жилфонд через полгода. Именно это позволило сохранить почти всю обстановку комнаты, переписку Иосифа, подготовить материалы для будущего музея».

Через полгода помещение надо было освободить. Из вещей и документов всё, что можно было, — забрали и сохранили. Но в «полтора комнатах» оставалось еще множество крупных, громоздких предметов, которые представлялись не столь значимыми, — их никто не взял, и деть их было некуда. Всё это нужно было убрать. Кроме меня и Михаила Руткиса никто из родственников и друзей за эту работу не взялся — может быть, не решились прийти.

Оказалось, что в основном надо было ломать старые шкафы и выносить через черную лестницу обломки во двор — довольно тяжелый труд для двоих, отнюдь не богатырей. Когда мы пришли в последний раз в пустые «полторы комнаты», без буфетов и перегородки в арке, ощущение было опустошающее. Ничто так доходчиво не предъявляет окончательность смерти и безвозвратность потери, как уничтожение собственными руками пространства, в котором жили близкие тебе люди. То, что это протяженный во времени последовательный процесс, для осознания факта имеет особое значение.

Вытаскивая во двор первый обломок, я подумал... Отчетливо помню мысль, очень отстраненную, с будничной и, если так можно сказать о мысли, ворчливой интонацией. Я подумал, что потом здесь сделают музей и будут всё восстанавливать. В этой мысли совершенно не было пафоса — только горечь и ощущение бессмысленности: «Сейчас мы всё это ломаем, а потом...».

Я совершенно точно знал в тот момент, что так произойдет. Здесь будет музей, думал я, и придется тратить значительные усилия для того, чтобы всё восстановить. Но сделать это будет уже невозможно, потому что часть вещей мы сейчас ломаем — и они исчезнут навсегда.

Говоря о родственниках Иосифа, скажу два слова и о себе. В детстве я жил в большой коммунальной квартире на Исаакиевской площади, в знаменитом доме со львами постройки Монферрана. По сути — обитал во дворце. Соседом по квартире, и не просто соседом, а жильцом, движения которого слышались порой прямо за стенкой, был известный ленинградский поэт Володя Уфлянд. С Бродским они дружили, и Иосиф заходил к нему в гости.

Я хорошо помню 1966 год. Как раз в те дни, когда Иосиф писал: «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь...», Володя Уфлянд с моим дядей Соликом (мы жили с ним вместе) лазали по развалинам Греческой церкви. Скалывали и снимали со стен керамический декор: византийские капители и геральдические щиты. Из капителей потом сделали кашпо, а щиты просто повесили на стену.

К Уфлянду я ходил в гости потому, что у него жила ворона. Он подобрал раненого птенца и выходил. Ворона свободно расхаживала по комнате, поэтому весь пол был застелен газетами — и всё равно загажен. В этом ощущался дух свободы. В его комнате этот дух чувствовался во всём. И что-то еще витало в пространстве, отличное от привычной стихии быта, которая присутствовала везде: дома и у соседей. У Володи было иначе, и поэтому мне у него нравилось.

Хотя комната Уфлянда выглядела небольшой и узкой, в ней было много света и, как ни странно, ощущался простор. Я думаю теперь, что дух свободы поселился в ней в большей степени оттого, что Володя не ходил каждый день на работу, чем оттого, что писал стихи. Свободу выражало всё: светлая ткань портьер, то, что он жил с Галей, которая не была его женой (она тоже мне нравилась), а также то, что они курили оба в комнате и спали на полу в верхнем этаже. К нему в гости ходили литераторы. На стенах висели изразцы, снятые со стен взорванной Греческой церкви.

Тогда мне казалось, что Володя во многом проигрывает Бродскому. Иосиф был в Архангельской ссылке, лежал на Пряжке, преследовался

КГБ, и его печатали в Америке. А Володя — всего лишь постоянно сидел без работы либо был каким-нибудь рабочим сцены, и его стихи печатали здесь в детских журналах.

Одно из воспоминаний середины 60-х. Я выхожу из комнаты в коридор и вдруг вижу Иосифа Бродского. (Все родственники за глаза звали его Оська, иногда более уважительно — Иосиф, Ося; при этом, когда говорили о политике и серьезной литературе, он именовался Иосифом, когда же обсуждались дела семейные — был Оськой.) Он стоит на перекрестке кухонного коридора и нашего и вычисляет, судя по всему, Володину дверь. Для меня это совершенно неожиданно. В моем детском понимании Иосифа можно встретить у него дома, на каком-нибудь семейном обеде или дне рождения. А как он попал сюда, совершенно непонятно.

Потом из своей комнаты выходит Володя, и оказывается, что Бродский пришел к нему, что они знакомы. Они шутят, улыбаются и начинают о чем-то говорить. Затем уходят к Володе. То, что он заходит в комнату к Уфлянду, а не к нам, для меня также удивительно. А вот родителям еще и обидно, и они долго потом обсуждают, что он «всегда такой»: «Всё время с приятелями, а к родственникам не заходит вообще. Даже когда пришел в нашу квартиру, не зашел».

В 1968 году наш дом на Исаакиевской площади расселили. Его забрал проектный институт, и жильцам коммуналок давали квартиры в новостройках. Все квартиросъемщики уже разъехались. Последними в доме остались Солик и Володя Уфлянд. Это было необычное время и странное ощущение: жить вдвоем в огромном пустом брошенном дворце. Дом уже начали ремонтировать и периодически отключали воду и электричество. Солик вечерами подпирал бревном парадный дворцовый подъезд, чтобы бомжи не забрались на лестницу. В заброшенных пустующих коммуналках он находил забытые антикварные вещицы.

В эти дни к ним чаще, чем всегда, приходил в гости Иосиф. Они пили чай и болтали о разном. Один раз он рассказывал, как его клали в «психушку». Другой — как устроился на завод на один день. Спасаясь, кажется, от повторной статьи за тунеядство, он попробовал вернуться в цех, но более чем на сутки его не хватило.

Иосиф все спрашивал Солю, как он может постоянно работать на заводе. А тот пожимал плечами — странный вопрос: что умею делать, то и делаю, у меня с металлом хорошо получается. И в этом весь он — никакого подтекста. Главная черта Солика — он человек без злых мыслей.

Однажды я спросил его, как они лазали по развалинам Греческой церкви. Он вспомнил только, что сделал на заводе специальное длинное зубило и потом забирался по лестницам.

— Уфлянд стоял снизу, а я наверх забирался, — Солик лукаво улыбнулся. — Срубили, сняли несколько изразцов: гербы какие-то, капители...

Вспомнил икону Богородицы, которую они не смогли вырубить из стены, и ее потом вместе с храмом взорвали.

В 60-х я встречал Иосифа на семейных праздниках — чаще всего в квартире «дяди-инженера», порой — когда я с родителями приходил в «полторы комнаты» (в большей степени в гости к его родителям). В этот период мои воспоминания сводятся в основном к двум темам.

Первая: Александр Иванович и Иосиф меня фотографируют. Бродский-старший был профессиональным фотографом, и Иосиф у него учился — иногда на мне. Меня почему-то любили снимать, и некоторые снимки сделаны Осиной рукой. Александр Иванович и Ося устраивали настоящую фотосессию: долго устанавливали свет прожектора, сооружали задник из простыни. Потом по-разному меня усаживали, выбирая ракурс и композицию. Когда снимал Ося, отец ему ассистировал и подсказывал, как лучше действовать. Огромный Александр Иванович расхаживал с профессиональным фотоаппаратом и вспышкой. Передавал фотоаппарат Иосифу. Потом Ося прятался за камеру, снимая меня, а Бродский-старший выполнял роль штатива с дополнительной лампой, регулируя свет.

Вторая тема (в детстве очень важная) — самураи. Из Японии и Китая в 1948 году Александр Иванович привез множество удивительных вещей. Они превращали необычное даже для того времени пространство «полутора комнат» в нечто совершенно фантастическое. Среди прочего, здесь жили японские куклы самураев и гейши, сделанные необычайно искусно. В детстве меня в этом доме больше ничего не интересовало, и мне, конечно же, давали с ними играть. Любовь к этим куклам была так велика, что даже взрослым, приходя в гости, я всегда на них оглядывался. Вместе с гибелью «полутора комнат» самураи канули во тьму прошлого — казалось, навсегда. Это был один из осязательных фрагментов потерянного мира.

Они обнаружили недавно в хранилище Фонтанного дома, сломанные и разобранные на части. Сотрудники музея не знали, что с ними делать, и попросили меня собрать их. Я помог — и, составляя из частей самурая, вдруг понял, что снова играю с игрушками, которые видел 50 лет назад и которые я тогда любил больше всего на свете.

В 16 лет я ходил к Иосифу со своими юношескими стихами. Мы начали с их анализа и постепенно перешли к мировой, прежде всего русской и американской, поэзии. Получилось так, что до самого его отъезда основной темой наших встреч стало поэтическое ремесло.

Желание показать Иосифу свои творения возникло у меня года за полтора до его отъезда. Я позвонил. Он пригласил меня сразу. Я принес



тетрадку и листы — рукописные и отпечатанные на машинке «Ундервуд» 1913 года выпуска. Иосиф внимательно отнесся к моим каракулям. В первую встречу он просмотрел их выборочно и предложил встретиться еще. К следующему разу прочел всё и разбирал почти каждую строчку. Было непривычно, что он беседовал со мной как со взрослым. Остальные родственники так меня еще не воспринимали. Он обращался ко мне так, будто я уже состоявшийся литератор и мы обсуждаем достойные публикации произведения. Внимательно, без того покровительственно-го тона, с которым обращаются обычно к юным дарованиям.

Иосиф отметил несколько строк в разных стихотворениях. Ему понравилось одно место, где тень от скамейки я сравниваю с детскими страхами. Он отнесся к моему поэтическому увлечению не только серьезно, но и заинтересованно, как будто сразу увидел во мне товарища по цеху. Видимо, для него это была другая мерка и другие отношения в сравнении с бытовыми, родственными, приятельскими. В какой-то момент, как бы подытоживая, он предположил, что у меня, вероятно, хорошо получилось бы писать стихи для детей.

Было ли наше общение предложением учиться? В определенном смысле, да. Ситуация походила на то, как юный родственник попадает в мастерскую дяди, где, например, чинят двигатели. И после того как подросток спрашивает, как они работают, ему начинают показывать. Не вообще и в теории, а — мастер берёт в руки детали и на глазах начинает собирать из них мотор, попутно объясняя, как части соединяются друг с другом и за что каждая из них отвечает. Что-то подобное Иосиф делал со стихами. Называл имена неизвестных мне поэтов и сразу доставал их сборники. Из некоторых читал целые стихотворения или отрывки. Он не проводил разбор текста в обычном понимании, а как бы пытался подчеркнуть его общее настроение. Он читал, практически не останавливаясь. Но паузами, короткими ремарками, не теряя дыхания и ритма стиха, он прекрасно показывал его суть. Так мы читали с ним Роберта Фроста.

Как-то раз Иосиф достал с полки потрепанный толстый том антологии русской поэзии и начал читать Державина — «На смерть князя Мещерского». Он декламировал, как обычно, с «подвыванием», обращая внимание на отдельные строки, их силу или смысл. Его волновала тема смерти, особенно строчки:

Здесь персть твоя, а духа нет.

— Где ж он? — Он там.

— Где там? — Не знаем.

Он почти сыграл — как в театре. Сказал, что это одно из лучших и первых стихотворений в русской поэзии. Комментарий в несколько фраз,

а в памяти осталось что-то вроде: человек перед ужасающей, грандиозной неизвестностью смерти. Для подростка, покалеченного школьной программой по литературе, Державин был совершенно неожиданным. Я с некоторой долей юношеского снобизма тогда не находил достойным внимания ничего из написанного ранее Серебряного века, даже Пушкина считая официальным фаворитом.

Когда речь зашла о современной советской литературе, Иосиф предложил томик Арсения Тарковского: «Возьми, это один из лучших современных поэтов, отчего-то не оцененный по достоинству». Он дал мне для чтения любимые и редкие в то время книги. В том числе — антологию русской поэзии, где в оглавлении стихотворение Державина помечено крестиком.

Во время разговора он несколько раз забирался коленями на свою постель, стоявшую у окна, и смотрел через улицу на фасад дома напротив и тревожно мигающий желтым светофор. На столе стоял компактный проигрыватель с большой черной пластинкой. В процессе разговора Иосиф периодически к нему подходил и трогал лапку с иглой.

Перед моим уходом он начал говорить о том, что его любимая музыка — марш «Прощание славянки». «Под этот марш, — сказал он, — русские солдаты в Болгарии уходили на смерть». Он поставил пластинку, и мы вместе слушали марш; он как будто смотрел вдаль сквозь стену, и глаза его, мне показалось, были застеклены слезами. Потом он поставил пластинку снова.

Этот эпизод почти повторился, когда в другой раз Иосиф предложил послушать «Лили Марлен». Перед тем как зазвучала мелодия, он рассказал о том, как миллионы молодых немецких солдат в 40-е годы шли умирать, слушая или напевая эту песню. «Ты понимаешь, — характерная интонация, затягивающая последнее слово, — они обычные мальчишки, им было по 18 лет. “Нет ничего круглей твоих колен, моя Лили Марлен”». Он пробовал это спеть — не очень точно, дребезжащим негромким голосом. Затем поставил песню на проигрывателе — она его, несомненно, волновала. Иосиф еще раз проговорил, почти пропел куплет в своем переводе:

Есть ли что круглей твоих колен,  
Колен твоих?  
Ich liebe dich,  
моя Лили Марлен,  
моя Лили Марлен.

Переключка двух мелодий. Он говорил о них в сходных словах. В них есть что-то простое, бесконечно далекое от смерти, и в то же время — со-

единившееся с ней. Может, еще — предощущение похожего на смерть расставания со всем, что он любил, расставания, которое поджидало его за ближайшем поворотом. Недавно в разговоре со мной Михаил Руткис вспомнил, как они с Бродским слушали «Лили Марлен». «Он обычно ставил “Лили Марлен”, — сказал Руткис. — Он сам любил петь “Лили Марлен”, когда напивался». Я сказал ему, что мне он тоже ее проигрывал. В ответ Михаил многозначительно закивал: «Знакомым он ставил классическую музыку. А для своих — “Лили Марлен”».

Иосиф договорился о встрече с Виктором Соснорой — специально, чтобы меня с ним познакомить. Мы собрались вскоре еще раз, втроем. Эту встречу я почему-то запомнил плохо — только лицо Сосноры, длинные черные волосы. Они о чем-то оживленно говорили. Виктор Соснора вел в то время литературный поэтический клуб для подростков. Это была прямая дорога в поэтический цех, но я тогда чего-то испугался и к нему не пошел.

Вскоре Иосиф уехал. Вначале я не осознал смысла произошедшего, мне казалось, что ничего страшного не произошло. Я не успел вернуть книги из его библиотеки. Он оставил мне удивительные вещи — Роберта Фроста, Юлиана Тувима, Роберта Грейвза... Некоторые из книг всё еще стоят у меня на полке, а некоторые потерялись. Пропал томик стихов Арсения Тарковского с дарственной надписью: «Иосифу, с любовью и верой!» Зато среди тех, что остались, — та самая антология русской поэзии в твердом потрепанном переплете, со стихотворением Державина, помеченным крестиком.

Осталась «Бхагавадгита». Знаменитое некогда академическое издание, в переводе Смирнова. На полях потрепанного синего тома — его пометки. Помимо подчеркиваний и кратких замечаний есть и довольно пространственные записи: последняя страница пятой главы (ее поле наполовину свободно) вся исписана его неровным почерком. Не имею права дословно цитировать неизвестную рукопись поэта, но получается приблизительно так. Как будто продолжая текст «Гиты» (главы «Йога отречения от действия»), он спрашивает (у кого?): желание отречения — тоже желание? Следующая запись — о том, что отрешенный всё равно в чем-то нуждается. Например, в свободе. Есть ли противоречие в том, что он отрешен от свободы, но его свобода от чего-то зависит? И как быть с тем, от чего она зависит? И так далее...

Почти сразу после отъезда Иосиф прислал из Америки три джинсовых костюма: для двоюродных братьев, Михаила Руткиса и Алекса Вольперта, а также для меня. Это был прощальный привет и одновременно жест, означающий сохранение связи с семьей. Надежда на сохранение связи не оправдалась по не зависящим от нас причинам. Но на-

стоящие американские джинсы были вершиной мечтаний. Он ведь прислал не просто джинсы, а настоящие костюмы *Levi Strauss*. Штаны из очень толстой мягкой ткани темно-синего цвета и куртки — твердые, будто жестяные. Куртку можно было поставить на пол, и она стояла! Иосиф знал, что делал. Надевая этот костюм, каждый из нас чувствовал себя почти королевской особой. Куртка просуществовала у меня более двадцати пяти лет и пережила человека, который ее подарил.

По-настоящему я понял, что Иосиф уехал, когда увидел изменения в «полуптора комнатах». Перегородка, отделявшая его келью от остальной жилплощади, была разобрана, а скрывавший ее буфет частично отодвинут. В узкий проход видны были светлое пространство, стеллаж с книгами и бутылками и письменный стол. Проход воспринимался как пустота. Пустота вливалась в комнату вместе с дополнительным световым потоком. В какой-то момент она превратилась в ощущение, сходное с тем, которое возникает через месяц или два после похорон близкого человека, когда приходит окончательное понимание, что его больше нет и ты его никогда уже не увидишь.

Нехорошо останавливаться на такой ноте. Да и жизнь, в отличие от текста, не ставит точку и подсказывает продолжение. После выхода моей книги о Бродском<sup>1</sup> надо было выступать с творческими вечерами. По окончании выступлений задавали вопросы, но — не только. Подходили люди и рассказывали свои истории. Оказалось, что в Петербурге среди ценителей поэзии на 40—50 человек обязательно находится один, а то и двое, лично или по рассказам близких знавшие Иосифа Бродского.

Как отнестись к тому, что сама реальность продолжает повествовать о прошлом независимо от твоего желания? Понимаю, что Петербург — город маленький, но порой возникает ощущение воронки, которая закручивает события и людей, притягивая их к Иосифу даже сейчас, через 20 лет после его смерти. Или, наоборот, именно сейчас. Чужие воспоминания, может быть, потому для меня интересны, что воспринимаются как настоящее, то, что узнал только сейчас.

Первая история — доктора физико-математических наук Евгения Григорьевича Друкарева. Его дед, Евгений Сергеевич Гернет, — офицер флота, прошедший Первую мировую и Гражданскую войны, впоследствии замечательный исследователь Арктики, — был репрессирован в 1937 году. В 1958 году его дочь, Галина Евгеньевна Гернет, получила уведомление о реабилитации отца. Вскоре Военно-морской музей запросил для новой экспозиции о Гражданской войне фотографию Гернета. Старую фотографию нашли, но ее надо было восстанавливать. За эту работу взялся фотограф музея Александр Иванович Бродский.

---

<sup>1</sup> Кельмовиг М. Иосиф Бродский и его семья. М., 2015.

Галина Евгеньевна приходила в Военно-морской музей несколько раз. Фотография требовала серьезной реставрации и ретуши. Александр Иванович оказался общительным человеком. Они говорили о войне и сталинских репрессиях. А. И. Бродский, прошедший фотокорреспондентом множество фронтов, как-то сказал ей: «Если бы я снимал все сюжеты, которые того стоили, то меня, может быть, и не расстреляли бы, но уж точно бы посадили».

Однажды во время их разговора в фотолабораторию вошел юноша лет семнадцати.

— Мама просила передать, — протянул он Александру Ивановичу какой-то сверток.

— Вот еще одно имя возвращается, — показал тот на фотографию Гернета.

— Человек или только имя? — спросил юноша.

— Только имя, — ответила Галина Ивановна.

Молодой человек понимающе кивнул и через несколько минут распрощался.

— Мой сын уже вполне взрослый, — заметил Александр Иванович.

Я почти ничего не знаю о прадеде — Моисее Борисовиче, агенте фирмы «Зингер» в Двинске. Даже о прабабушке, Фанни Яковлевне, что-то знал, а о нем — ничего. Одним из первых откликов на мою книгу было письмо. Аспирант, историк литературы готовил оригинальную выставку. Ему нужны были фотографии. Экспозиция посвящалась отрывку неизвестного стихотворения Иосифа Бродского, посвященного деду. Иосиф написал это стихотворение в Риге, во дворе перед Домским собором. Я его не знал:

Дорогой дед, дорогой дед  
Потому что ты умер и тебя нет  
Потому что в Вильне идет всю ночь  
Сильный дождь. Потому что дочь  
Твоя родила меня. Потому  
Что разве могу объяснить кому  
Как мальчик, ходивший в четвертый класс  
Поехал на кладбище в первый раз...

Притяжение людей происходит само собой без малейшего моего участия. Со мной связался представитель библиотеки Большой хоральной синагоги — и предложил выступить. Он оказался молодым, рыжим и несколько похожим на Иосифа Бродского в молодости. Слегка смущаясь, он пытался разъяснить мне ситуацию:

— Вообще-то, раввины нашей синагоги на Иосифа Бродского до сих пор в обиде. Но он настолько значимая величина, что они согласились устроить вечер.

В этот момент я понял, что организатор сам любит стихи Бродского. А он продолжал рассказывать историю обиды.

— Иосиф как-то в конце 60-х зашел в синагогу с девушкой. Он хотел пройти с ней в молельный зал, но его остановил раввин и сказал, что по закону девушка должна подняться наверх, на галерею. Иосиф «послал» его, и они ушли.

— Вы понимаете, Михаил, — с трепетом в голосе говорил рыжий, — фокус в том, что в те годы люди не только боялись заходить в синагогу, опасаясь слежки. Проходя мимо ворот, не решались даже посмотреть в сторону входа. А он зашел, не задумываясь, и... так вышло... Наши раввины всё равно на него немного обижаются... Но вы же понимаете... Это Бродский!

В «Парке культуры и чтения» на Невском, 46 встреча проходила перед самым юбилеем — 75-летием Иосифа Бродского. После выступления ко мне подошел человек. Он рассказал, что ходил с Иосифом в одну школу, и, когда получал двойки или хулиганил, родителей вызывали к директору. Они возвращались и часто говорили ему: «Если не исправись, будешь таким, как Бродский!»

В одно из последних выступлений, в литературном клубе на Гагаринской, в зале была в основном молодежь. Единственный пожилой мужчина перед началом встречи затеял со мной разговор. Он держался, казалось, слегка развязно. После завершения вечера подошел. Он оказался русским, проживающим нынче в Америке, работает авиаконструктором. В 60-х тусовался в Сайгоне и был фарцовщиком на Невском.

— Я встречался с Бродским один раз, — сказал бывший фарцовщик. — Он пришел ко мне покупать джинсы. Это был необычный человек. Он вынес мне мозг буквально за три минуты. Он что-то тогда сделал со мной. Я никогда не забывал этой встречи. Вы понимаете, тогда еще никто не знал, кто он такой.

«Американец» всё никак не мог уйти. Неожиданно стал читать наизусть из Уистена Одена, лучшее переведенное на русский.

Сила притяжения. Голос прошлого. Что же в ответ говорит настоящее?

24 мая 2015 года. 75-летний юбилей Иосифа Бродского. Прямо у двери нового здания Александринки перед началом торжеств я столкнулся с Михаилом Мильчиком. Мой вопрос — «Как там, в доме Мурузи?» — его остановил.

— Очередь как в мавзолей, — ответил он, — до Литейного, и уходит за угол. Люди стоят по 4—5 часов.

Он был в приподнятом настроении и произносил фразы, пафосно взмахивая рукой, будто со сцены. Это должен был быть и его день. Пятнадцать лет борьбы и упорного труда. И вот — музей открыли. На один день, правда, и что дальше — неизвестно.

6 июня 2015 года. Концертный зал музея на Мойке, 12. Во время церемонии вручения премии «Петрополь», в паузе между выступлениями, ведущий зачитывает прямо со смартфона поздравление в день рождения Иосифа Бродского, опубликованное в фейсбуке на странице одного из московских учреждений культуры: «Сегодня свой юбилей празднует любимый многими поэт, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Александрович Бродский. Мы от всего сердца поздравляем легендарного поэта с праздником и желаем ему крепкого здоровья и долгих творческих лет».

Это бессмертие, Иосиф.